

ЛЕВ
ШЕСТОВ

ФИЛОСОФИЯ
ТРАГЕДИИ

Лев Исаакович Шестов Добро в учении гр. Толстого и Ницше

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177385
Философия трагедии: АСТ, Фолио; Москва; 2001
ISBN 5-17-002653-6, 966-03-0883-3

Содержание

Предисловие	4
I	14
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Лев Шестов

Добро в учении гр. Толстого и Ницше

(философия и проповедь)

Предисловие

В главе VII этой книги читатель найдет следующий отрывок из одного частного письма Белинского: «Если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития – я и там бы попросил вас отдать мне отчет во *всех* жертвах условий жизни и истории, во *всех* жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II-го и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет *каждого* из моих братьев по крови. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить свою участью идею дисгармонии». Эти строки приведены мною отнюдь не для того, чтобы поддержать высказываемые мною мысли авторитетом знаменитого писателя. Наоборот – для меня ясно, что авторитет Белинского-писателя не за, а про-

тив меня. Чтоб сослаться на него, мне пришлось обратиться не к его сочинениям, а к переписке. Но и это может показаться странным, если припомнить, что приводимый здесь отрывок уже не раз цитировался в русской литературе писателями всевозможнейших направлений. Что же это за загадочные слова, на которых сошлись люди самых различных убеждений? Быть может, заключающаяся в них мысль слишком обща и неопределенна, т. ч. поддается многообразным толкованиям? На мой взгляд – нет. На мой взгляд, едва ли во всем, что писал когда-либо Белинский, можно найти еще одно место, в котором ему бы удалось яснее и определеннее выразиться. И все-таки, несмотря на ясный смысл ничем не затемненных и простых выражений, различные толкования этого письма оказались возможными. Никто из цитировавших этот отрывок не заметил даже, что высказанная там мысль находится в самом резком, вопиющем противоречии со всем тем, что говорил Белинский в своих критических статьях. Это письмо истолковывалось в том же смысле, в каком истолковывалась его горячая литературная проповедь, даже его письмо к Гоголю. И здесь, как во всем, что исходило от Белинского, хотели видеть только великого идеалиста, возвышающего свой властный голос в защиту гуманности, человечности, добра. Он отвергает философию и Гегеля ввиду того, что они предлагают ему удовлетвориться по поводу гибели сотен Иванов совершенством одного Петра! В этой требовательности хотели видеть и видели лишь своеоб-

разное выражение запросов справедливой и гуманной человеческой души. По этому самому прощалась, даже не замечалась парадоксальная, в сущности нелепая, возмутительно нелепая форма, в которую Белинский облек свою мысль. И в самом деле, какое удовлетворение может дать Гегель Белинскому за каждую жертву истории, Филиппа II и т. п.? Если Филипп II сжег на костре кучу еретиков, то требовать теперь за них отчета – бессмысленно. Они изжарились, и их дело безвозвратно, непоправимо, *навсегда окончено*. Тут уже никакой Гегель не поможет, и заявлять протесты, негодовать, требовать отчета от всей вселенной по поводу замученных и безвременно погибших людей, очевидно, уже поздно. Нужно либо прямо отвернуться от всех этих печальных историй, либо, если хочешь, чтоб в твою теорию необходимо вошли все существенные элементы, из которых складывается человеческая жизнь – придумать что-либо вроде общей гармонии, т. е. круговой поруки человечества и засчитывать в пассив Ивана актив Петра, либо совсем бросить всякие подсчитывания итогов жизни отдельных людей и, переименовав раз навсегда человека в «индивидуумы», признать, что высшая цель – в каком-либо общем принципе, и что этому принципу «индивидуумы» должны быть приносимы в жертву. Тогда пафос окончится, и начнется философия, настоящая, всеобъемлющая философия, в которой вполне точно и определенно будет выяснено, почему Филипп и история терзали и терзают людей и, ежели что-нибудь останется проблема-

тическим, то разве несколько вопросов теории познания о пространстве и времени, причинности и т. д. Но с этими вопросами, как известно, время терпит. Если для них еще не подысканы настоящие объяснения – можно пока обойтись гипотезами. Ведь и возникли они, как и вся философия, если верить Аристотелю, *διὰ τὸ θαυμάζειν*.¹ Ну а чтобы удовлетворить истекающей из удивления любознательности, вовсе уже не так непременно нужно найти «истину». Скорей наоборот. «Истина», в сущности, не нужна. Если бы она оказалась внезапно отысканной – это был бы очень неприятный сюрприз. По крайней мере, Лессинг так утверждал (а он знал, что говорил), когда просил Бога, чтоб Он истину оставил при себе, а человеку сохранил бы его способность заблуждаться и искать. Но Белинский, вечный ученик европейских учителей, очевидно, наедине с собой или в не предназначенной для публики частной беседе думал и говорил иначе. Он уже не хотел одних исканий – он требовал всей, полной истины и горячо протестовал против традиции своих учителей.

Это был опасный протест. Опасный потому, что он грозил прежде всего самому «идеализму» Белинского. Ибо в чем сущность и психологическая основа идеализма? Человек верит, что все его сомнения, вопросы, искания – только дело времени. Все это уже давно окончательно и очень хорошо порешено; нужно только удосужиться или умствен-

¹ Из удивления.

но вырасти, чтоб обстоятельно разъяснить и себе то, что другие давно знают. Оттого естественной почвой, на которой удачнее всего произрастает идеализм, оказывается молодая культура, если ей приходится развиваться в соседстве с более зрелой цивилизацией. Даже в семьях младшие члены обыкновенно выходят «идеалистами», принимающими на веру «убеждения» старших, уже больше знающих, более опытных, более искусных во всем и более совершенных братьев. Каждое слово взрослого человека представляется таинственно содержательным ребенку. Чем непонятней и недоступней оно, тем более соблазняет оно юный ум, который видит в нем источник силы и превосходства старшего. Молодая Россия долгое время стояла именно в таком отношении к Западу. Каждое приходившее оттуда слово казалось священным. Этим, главным образом, обуславливается идеалистическое направление нашей литературы вообще и Белинского – в частности. Старший Запад был несомненно умнее, богаче, красивее нас. И мы полагали, что причина тому – его знание, его опыт. Мы верили, что есть у него «слово», которым он разрешит все. И этого слова мы искали в его науке, которую начали обоготворять много раньше, чем узнали ее. Как ужасно должно было быть разочарование каждого идеалиста после того, как при более основательном рассмотрении своей святыни, он убеждался, что она – не «истина», а «искание истины»!

В этом разочаровании и смысл обсуждаемого здесь пись-

ма Белинского. Отсюда его странные, невыполнимые требования к Гегелю. Если бы Гегель прочел это письмо, он бы назвал Белинского дикарем. Требовать от философии, чтобы она дала отчет за каждую жертву истории! Да разве это ее дело?! И затем, разве вообще можно, должно, нужно являться с такого рода требованиями к кому бы то ни было?! Правда, Гегель утверждал, что действительность разумна. Но не вина Гегеля, если Белинский истолковывал его слова в том смысле, что «правде» гарантирована победа на земле. Совсем не то. Гегель ведь и сам был идеалистом. Немцы, как и русские, тоже имели свой Запад и научились в свое время верить в идеи. Только они были основательнее, прочнее в своей вере – это уже дело характера и национальных особенностей – и потому не иначе подходили к своей святыне, как с преклоненными коленями и ничего от нее не требовали. «Действительность разумна» у Гегеля значило только то, что наука должна быть поставлена впереди всего, и что, следовательно, жизнь во что бы то ни стало должна быть изображенной как вполне соответствующая требованиям разума. Пусть на самом деле этого нет – идеалист об этом не заботится – главное, чтобы с кафедры, из книг эта истина всегда возвещалась. Немецкие идеалисты как нельзя более понимали своих учителей. В искусствах, в науках (даже в общественных и исторических) действительность обрабатывалась таким образом, что она постоянно свидетельствовала во славу человеческого разума, который и до сих пор в Германии продолжает гордиться-

ся своими аргументами. Идеализм торжествовал и до сих пор продолжает торжествовать в этой удивительной стране. И вдруг на сцену является Белинский и требует отчета у вселенной за *каждую* жертву истории! За *каждую* – слышите? Он не хочет уступить за все мировые гармонии ни единого человека, обыкновенного, среднего, простого человека, которых, как известно, историки и философы считают миллионами, в качестве пушечного мяса прогресса. Это уже не гуманность и не идеализм, а что-то иное. Немецкие историки и философы тоже гуманны. После того, когда дела прогресса улажены, они очень охотно хлопчут о жертвах истории, – но это все, что требуется, что может требоваться гуманностью. Еще, пожалуй, от них можно добыть обещания насчет будущего: как известно, наука обещает, что в будущем жертв уже не понадобится, и когда-нибудь да прекратится то нелепое движение истории, при котором условием успеха одного человека являются целые гекатомбы из других людей. Это все, чем располагает наука в утешение жертвам. В будущем обещается обязательное счастье решительно всех людей. Белинский это знает очень хорошо. Он сам это рассказывает – и как красноречиво – в своих многочисленных статьях; но наедине с собой он возмущается собственным пафосом. Он не только не хочет отдавать настоящих живых людей в жертву тем людям, которые имеют народиться через сто или тысячу лет – он вспоминает давно загубленных в пытках людей далекого прошлого и требует за них удовлетворения. Что это

не простая гуманность – надеюсь, более чем очевидно. Гуманность должна смягчать, успокаивать, примирять людей на определенной деятельности в пользу ближнего. Короче, гуманность – *отвечает*, дает ответы на вопросы. Белинский же – *спрашивает* и так спрашивает, что его вопрос грозит сбить с толку самых верующих идеалистов.

Ибо, если позволительно так спрашивать, то может стать-ся, даже почти наверное, что ответить совсем и не придется или что за ответом нужно будет идти в такие области, которых идеализм боится больше, чем самых ужасных пустынь. Здесь обычная формула идеализма может получить обратный смысл. «Действительность разумна» придется истолковывать не так, что ее следует сдабривать и обряжать до тех пор, пока «разум» не найдет ее устроенной по своим законам, а так, что «разуму» придется принять от нее взамен старых *a priori* новые *a posteriori*. Понимаете ли вы, какой отсюда выход? Может быть, что, если в этой действительности не найдется гуманности, иными словами, если не с кого будет требовать отчета за жертвы Филиппа, то разуму совсем придется отказаться от своих великодушных принципов и отыскать себе иной закон... И вообще, если действительность разумна, если от нее нельзя отказываться, если ее нельзя отрицать, если ее нужно принимать, уважать – то не есть ли выход отсюда – квиетизм, то страшное слово, которым до сих пор отпугивались от разных теорий самые смелые люди?

Всего этого «неистовый Виссарийон» не рассказывает сво-

им читателям. Все это держится под строжайшей тайной в лаборатории писательской души. В статьях же «неистовство» претворяется в смелую, живую, светлую веру, в веру в будущее, в лучшее будущее, которое приведет когда-нибудь с собой наука. Сомнения оставляются дома и там забываются за преферансом. Публике знать все это не нужно. Не нужно ей знать и того, что учитель пишет свои статьи за один почти присест, чуть ли не в порыве самозабвения. Вообще ей не следует слишком много знать. Ей требуются идеалы, и тот, кто хочет служить ей, обязан во что бы то ни стало поставлять их. Старая история! Писатель подобен раненой тигрице, прибежавшей в свое логовище к детенышам. У нее стрела в спине, а она должна кормить своим молоком беспомощные существа, которым дела нет до ее роковой раны. И у Белинского была такая рана – о ней свидетельствует и его «неистовство», и приведенное письмо, и преферанс, – но, тем не менее, до конца жизни он бессленно стоял на своем посту и делал свое дело.

В России существовало крепостное право – не только в своде законов, но и в сердцах людей; в России было еще многое другое в том же роде. Ей нужен был публицист, солдат. Белинскому некогда было отрываться от своей службы, ему нельзя было думать о своей стреле. И он сам всегда готов был бороться с теми, кто не приходил к нему активно на помощь.

В этом смысле я и сказал, что авторитет Белинского-писателя не за, а против меня. Но всему приходит свой черед.

Быть может, в данный момент тактика Белинского была бы в такой же мере неуместна, в какой она была законна и необходима в его время. Быть может – теперь молчать о том, о чем молчал он, было бы не подвигом, а преступлением. Хотя мы и не знаем до сих пор, есть ли дерево познания также и дерево жизни, но для нас уже выбора нет. Мы вкусили от плодов первого, и теперь – хотим не хотим – нам приходится приподнимать завесу над тайной, которую так тщательно скрывал Белинский, и говорить публично о том, о чем он говорил только наедине со своими близкими друзьями.

Л.Ш.

*Wehe alien Liebenden, die nicht noch eine Höhe
haben, welche über ihrem Mitleiden ist!*
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra (Von den Mitleidigen)

I

В своей книге «Что такое искусство» граф Толстой не в первый уже раз, но со всей страстностью впервые вступившего в борьбу человека обрушивается на современное общество. Книга называется «Что такое искусство», но не нужно особой проницательности, чтобы понять, что не в искусстве дело, и что не оно занимает собою ее автора. Гр. Толстой говорит, что сочинение это задумано им еще 15 лет тому назад, но что оно не могло быть доведено до конца, потому что мысли по этому предмету не были еще и для него самого вполне ясны. В сущности, это не совсем так. 15 лет тому назад появилась в печати статья гр. Толстого, называемая «Мысли, вызванные переписью в Москве» – и в ней уже основные положения «Что такое искусство» были высказаны вполне. Та душевная буря, которая оторвала гр. Толстого от русской интеллигенции и унесла его к иным берегам, где он научился говорить странные и чуждые нам слова, – дело давно минувших дней. «Что такое искусство» – лишь заключительное слово длинной проповеди, начатой много лет тому назад. Я говорю «проповеди», ибо все произведения последних годов гр. Толстого, даже художественные, имеют исключительную задачу: сделать выработанное им мировоззрение обязательным для всех людей. Такое стремление уже резко проявилось в «Анне Карениной». Эпиграфом к ней служит

евангельский стих: «Мне отмщение и Аз воздам». Мы привыкли его истолковывать в том смысле, что окончательный суд над людьми может и должен быть произнесен не человеком, и что удача или неудача нашей земной жизни не служит доказательством правоты или неправоты нашей. Но в «Анне Карениной» чувствуется совершенно иное понимание евангельского текста. Уже в этом романе гр. Толстой не только изображает человеческую жизнь, но судит людей. И судит не так, как должен судить беспристрастный, спокойный судья, не ведающий жалости, но не знающий и гнева, а как человек, глубоко и страстно заинтересованный в исходе разбираемого им процесса. Каждая строчка этого замечательного произведения направлена против невидимого, но определенного врага или в защиту невидимого же, но тоже вполне определенного союзника. И, чем сильнее враг, тем острее и утонченнее оружие, посредством которого побивает его гр. Толстой, тем искуснее, сложнее, незаметнее работа, посредством которой подкапывается под него автор. Степан Аркадьевич Облонский побивается легко – ироническими замечаниями, комическими затруднениями, в которые он каждый раз попадает. Каренин – уже посерьезней, но и с ним сравнительно немного приходится хлопотать. Иное дело – Вронский и Кознышев. Это люди покрупнее; если они не могут по собственной инициативе создать что-либо новое, то зато они умеют развить достаточно силы, чтобы поддержать то и тех, что и кого считают своими. Ими держится извест-

ный строй; они – столпы, устойчивость которых гарантирует прочность всего здания. И на них гр. Толстой обрушивается со всей силой своего громадного дарования. Не только вся деятельность – вся жизнь их сведена на нет. Они и борются, и хлопочут, и увлекаются – но все это оказывается чем-то вроде беганья белки в колесе. Они служат какому-то бессмысленному идолу, имя которому – тщета. Послушайте, как характеризует гр. Толстой нравственные убеждения Вронского: «Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должно и не должно делать... Правила эти несомненно определяли, – что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, – что лгать не надо мужчинам, а женщинам можно, что обманывать нельзя никого, а мужа можно, что нельзя прощать оскорблений, но оскорблять можно». Вы видите, что, по мнению автора, источник нравственных побуждений Вронского – пустые общественные предрассудки. С Кознышевым то же или почти то же. Его увлечения – есть только модная подражательность. Его душевная работа – поверхностная деятельность ума, которая тем меньше значит, чем полнее и последовательнее она выражается. Итог его жизни – никому не нужная книга, остроумные разговоры в гостиных и бесполезное участие в различных частных и общественных учреждениях. Вронский и Кознышев – это все, что мог найти гр. Толстой среди призванных им к суду представителей русского интеллигентного общества нового времени. К ним

присоединяются еще мимоходом очерченные фигуры – но все это люди незначашие и не могущие сказать свое определенное слово читателям.

Но последним и главным подсудимым, по поводу которого, очевидно, и приведен в начале книги евангельский стих – является Анна. Ее ждет отмщение, ей воздаст гр. Толстой. Она согрешила и должна принять наказание. Во всей русской, а может быть и в иностранной литературе ни один художник так безжалостно и спокойно не подводил своего героя к ожидающей его страшной участи, как это сделал гр. Толстой в своем романе с Анной. Мало сказать безжалостно и спокойно – с радостью и торжеством. Позорный и мучительный конец Анны для графа Толстого – отрадное знамение. Убивши ее, он приводит Левина к вере в Бога и заканчивает свой роман. Если бы Анна могла пережить свой позор, если бы у нее осталось сознание своих человеческих прав и она умерла не раздавленной и уничтоженной, а правой и гордой, у гр. Толстого была бы отнята та точка опоры, благодаря которой он мог сохранить свое душевное равновесие. Пред ним явилась альтернатива – Анна или он сам, ее гибель или его спасение. И он пожертвовал Анной, которая при живом муже пошла за Вронским. Гр. Толстой отлично чувствует, что это за муж для Анны – Каренин; как никто он описывает весь ужас положения даровитой, умной, чуткой и живой женщины, прикованной узами брака к ходячему автомату. Но узы эти ему нужно считать обязательными, священ-

ными, ибо в существовании обязательности вообще он видит доказательство высшей гармонии. И на защиту этой обязательности он восстает со всей силой своего художественного гения. Анна, нарушившая «правило», должна погибнуть мучительной смертью.

Все действующие лица «Анны Карениной» разделены на две категории. Одни следуют правилу, правилам и вместе с Левиным идут к благу, к спасению; другие следуют своим желаниям, нарушают правила и, по мере смелости и решимости своих действий, подпадают более или менее жестокому наказанию. Кому многое дано, с того много и взыщется. Анна – наиболее даровитая, ее ждет крайний позор. Другие страдают меньше – пока. Нужно думать, что если бы граф Толстой довел в «Анне Карениной» до конца жизни всех своих героев, то всем было бы воздано по соответствию с тем, насколько и как они нарушали «правила».

Однако, в «Анне Карениной» объем «правил», почитаемых гр. Толстым за обязательные, еще сравнительно невелик. В эпоху создания этого романа художник дает добру только относительную власть над человеческой жизнью. Более того, служение добру как исключительная и сознательная цель жизни еще отрицается им. Как в «Войне и Мире», так и в «Анне Карениной» гр. Толстой не только не верит в возможность обмена жизни на добро, но считает такой обмен неестественным, фальшивым, притворным, в конце концов обязательно приводящим к реакции даже самого лучшего

человека. В «Войне и Мире» он произносит суровый приговор над Соней, этой добродетельной, любящей и так глубоко преданной семье Ростовых девушкой. В эпилоге, где выступают на сцену молодые семьи Николая Ростова и Пьера Безухова, жизнь выросших на наших глазах людей – Пьера, Наташи, Николая и княжны Марьи – изображается осмысленной и полной. Они все нашли себе свое место и свою работу и спокойно продолжают дело своих отцов. Их существование нужно, понятно. Одна Соня, случайный, всех стесняющий пришлец, уныло сидит за самоваром, исполняя роль не то няньки, не то приживалки. А за ее спиной подруга ее детства Наташа и княжна Марья, так много умилявшаяся над идеями о добродетелях и потом отнявшая у Сони Николая, обсуждают ее жизнь и приводят текст из Евангелия, которым ее жалкое положение признается вполне заслуженным.

Вот их разговор:

– Знаешь что, – сказала Наташа, – вот ты много читала Евангелие; там есть одно место прямо о Соне.

– Что? – с удивлением спросила графиня Мария.

– «Имущему дастся, а у неимущего отнимется», помнишь? Она – неимущий: за что? не знаю; в ней нет, может быть, эгоизма, – я не знаю; но у нее отнимется и все отнялось. Мне ее ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она *пустоцвет* (курсив гр. Толстого), как на клубнике.

Едва ли нужно говорить, что подчеркнутый «пустоцвет» и его объяснение: «у нее нет эгоизма», и потому у нее «все отнялось» – не только мнение Наташи и княжны Марьи, которая хоть и иначе толковала Евангелие, но все же, «глядя на Соню», – соглашалась с Наташею; всякому очевидно, что это мнение двух счастливых, но не выдержавших испытания добродетели женщин, есть и мнение самого автора «Войны и Мира». Соня – пустоцвет; ей ставится в вину отсутствие эгоизма, несмотря на то, что она вся – преданность, вся – самоотвержение. Эти качества, в глазах гр. Толстого – не качества, ради них – не стоит жить; кто ими только обладает – тот лишь похож на человека, но не человек. Наташа, вышедшая замуж за Пьера через несколько месяцев после смерти князя Андрея, княжна Марья, которой «состояние имело влияние на выбор Николая», – обе, умевшие в решительную минуту взять от жизни счастье – правы. Соня – неправа, она – пустоцвет. Нужно жить так, как жили Наташа и княжна Марья. Можно и должно стараться «быть хорошим», читать священные книги, умиляться повествованиям странников и нищих. Но это – только поэзия существования, а не жизнь. Здоровый инстинкт должен подсказать истинный путь человеку. Кто, соблазнившись учением о долге и добродетели, проглядит жизнь, не отстоит вовремя своих прав – тот «пустоцвет». Таков вывод, сделанный графом Толстым из того опыта, который был у него в эпоху созидания «Войны и Мира». В этом произведении, в котором автор подводит итог

своей 40-летней жизни, добродетель *an sich*, чистое служение долгу, покорность судьбе, неумение постоять за себя – прямо вменяются человеку в вину. Над Соней, как впоследствии над Анной Карениной, произносится приговор, – над первой за то, что она не преступила правила, над второй – за то, что она преступила правило.

Но еще в «Анне Карениной» антипатия гр. Толстого к людям, посвятившим себя *служению* добру, проявляется со всей силой. Какой жалкой изображена там Варенька с ее бедными, больными и ее безропотной жизнью при госпоже Шталь! И с каким отвращением вспоминает Кити о своих попытках служения добру и свою встречу с Варенькой за границей. Она предпочитает лучше, чтоб ее муж был неверующим – «она, которая считает, что неверие погубит его в будущей жизни» – чем чтоб он был таким, какой была она сама за границей. Наконец, главный герой романа, *alter ego* автора (даже фамилия его произведена от имени гр. Толстого: Лев – Левин) – тот прямо заявляет, что сознательное служение добру – есть ненужная ложь. Вот что о нем рассказывает автор: «Прежде (это началось почти с детства и все росло до полной возмужалости), когда он (Левин) старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы *добро* для всех, для человечества, для России, для всей деревни, он замечал, что мысли об этом были приятны, но самая деятельность всегда была нескладная и сходила на нет; теперь же, когда он после женитьбы *стал более и более ограничиваться жизнью для*

себя, он, хотя и не испытал более никакой радости при мысли о своей деятельности, чувствовал уверенность, что дело его необходимо, видел, что оно спорится гораздо лучше, чем прежде, и что оно становится все больше и больше. Теперь он, точно против воли, *все глубже и глубже врезывается в землю*, как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отвернув борозды». И благодаря тому, что он порвал со своим прошлым, что отказался думать о служении добру, всей России, всей деревне и т. д., он уже всегда, при всех жизненных обстоятельствах знает, что ему делать и как поступать, что важно и что не важно. Семья должна жить так же, как жили деды и отцы, хозяйство нужно вести возможно лучше и для этого нанимать рабочих как можно дешевле. О делах брата и сестры и всех мужиков, к нему ходивших за советами, нужно позаботиться, но работнику, ушедшему домой в рабочую пору потому что у него помер отец – простить нельзя, хотя и жалко его. Левина мучила мысль о том, что он не знает, для чего живет и как жить, но, тем не менее, он «твердо прокладывает свою особенную определенную дорогу в жизни и под конец убедился, что хотя он и не ищет добра, а ищет своего счастья, но тем не менее или, вернее, именно потому его жизнь не только не бессмысленна, как была прежде, но *имеет несомненный смысл добра*».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.